

В.Б. Голофаст

МНОГООБРАЗИЕ БИОГРАФИЧЕСКИХ ПОВЕСТВОВАНИЙ

ГОЛОФАСТ Валерий Борисович — кандидат философских наук, заведующий сектором социально-культурных изменений Санкт-Петербургского филиала Института социологии РАН.

О собраниях Биографического фонда

Биографический фонд при Институте социологии Российской академии наук начал свою деятельность в 1989 году. Сначала прозвучали краткие сообщения по радио в Ленинграде: мы объявили о том, что собираем и храним автобиографии. Вот некоторые фрагменты нашего обращения:

"Мы просим откликнуться не только тех, кого судьба связала с событиями истории, но и тех, кого события общественные обошли стороной. Сегодня заканчивается целая эпоха в жизни страны. Рождаются дети, в памяти которых отпечатается совсем другая жизнь. Нам интересны и важны свидетельства пожилых и молодых, женщин и мужчин, людей разных национальностей и любых профессий. Детство и ваши предки, учеба и работа, любовь, семья, факты, планы, мечты или фантазии — все это может войти в описание фонда. Мы готовы принять и прочесть биографии людей различных политических, религиозных или моральных убеждений.

Опишите свою жизнь в деталях, пусть вас не заботят вопросы стиля, почерка или размеров текста. Мы принимаем на хранение любые описания собственной жизни, а также и другие личные материалы — дневники, подборки писем, воспоминания, фотографии, в которых раскрывается ваша жизнь или жизнь вашей семьи или близких.

Материалы фонда используются для анализа истории и культуры. Они могут быть опубликованы только с разрешения авторов".

Затем назывались адрес и телефон Биографического фонда.

После радиопередач телефон не умолкал в течение нескольких недель, а почта приносила письма или посылки. Одни корреспонденты располагали рукописью автобиографии, реже биографиями или мемуарами ближайших родственников: отцов, матерей, братьев, мужей и т.п. Как правило, они были готовы безвозмездно передать манускрипты в фонд безо всяких условий или при условии хранения копии текстов в своем личном архиве. Другие, позвонив по телефону, выясняли серьезность намерений сотрудников фонда и принимались писать или заканчивать историю собственной жизни. Но было немало и таких, прежде всего людей пожилых, инвалидов, лиц с ограниченной подвижностью или свернутыми жизненными контактами, которые выражали острый интерес или немедленное согласие рассказать о своей жизни внимательному слушателю.

Со временем Биографический фонд освоил технику магнитофонных интервью, которые большей частью транскрибировались в машинописные варианты. Приходилось приводить к машинописной форме и многие рукописные тексты, в частности из-за необходимости работы с копиями.

Другой акцией фонда стало обращение в местные газеты средних и малых городов России, в адрес которых была разослана небольшая заметка-обращение о

нашей деятельности. Посылки и корреспонденция стали поступать из провинции. И, конечно, к нам шли и шли посетители — авторы автобиографий, попечители чьих-то рукописей и семейных архивных собраний.

Вскоре определилось несколько направлений работы Биографического фонда по сбору материалов:

1. Накопление написанных текстов (а также материалов, которые сопровождали такие тексты: фотографии, копии и оригиналы документов, схемы, рисунки, генеалогии). Основными заботами, связанными с этой группой материалов, было копирование, если оно требовалось, и перевод в машинописную форму. А самое важное — чтение материалов и отзыв об их содержании авторам или попечителям. Это упорядочивало отношения сотрудников фонда, работников академического учреждения, и клиентов, остро заинтересованных в такой процедуре.

2. Организация и проведение биографических интервью с лицами, которые психологически не готовы вести жизнеописание самостоятельно или не могут это сделать по причинам нездоровья, возраста или по бытовым обстоятельствам. Как правило, интервью требовали неоднократных визитов к информантам. Магнитофонные записи постепенно транскрибировались и оформлялись в письменные тексты. Вопрос о сохранности записей на кассетах всякий раз решался в индивидуальном порядке. Также решались вопросы с копиями текстов интервью.

3. Поддержание контактов с авторами, которые взяли на себя труд подготовить свои жизнеописания самостоятельно, по телефону или в процессе консультирования, визитов и встреч.

Была создана картотека фонда, включающая краткое описание автора, его реквизиты и характеристики материалов, а также журнал, где фиксировались все контакты и события, связанные с клиентами фонда.

Газетные и радиообращения со временем дополнились телепередачами, в которых характеризовалась или упоминалась деятельность Биографического фонда, а также публикациями ("Невское время", "Санкт-Петербургские ведомости", "Рейтинг") собранных материалов.

В начале 1993 года газеты "Час пик" и "Пятница" опубликовали сообщения о конкурсе автобиографий, проводимом нашей сотрудницей Е.В.Лагуновой при поддержке "Культурной инициативы" (Фонд Дж. Сороса). Речь шла о выплате премий победителям и оплате услуг членов жюри и организаторов конкурса. Всего было подано примерно 600 материалов. Это означает, что первый опыт биографического конкурса на территории России можно считать удачным.

Конкурсные материалы, как правило, гораздо короче текстов, поступающих в фонд другими путями. Среди 200 (это помимо 600 конкурсных) жизнеописаний есть и многотомные рукописи, и многочасовые интервью, и целые подборки материалов, связанных с жизнью одного человека, одной семьи или определенного круга лиц.

Возникла проблема разнообразия и разнокачественности материалов, а это ставит вопрос о стратегии фонда, целях его деятельности, социально-культурном и научном смысле его существования. В методологическом плане требуют осмысления природа биографического сознания, статус биографического метода в социально-гуманитарных науках, структура и особенности биографического повествования. В социально-культурном аспекте необходимо прояснить связь биографии, индивидуальной жизни и социально-исторического процесса, изменения статуса личности в ее взаимоотношениях с обществом и социальными группами, определить, как, в каких формах возникает и поддерживается социальная коммуникация, раскрывающая жизненную панораму, делающая ее предметом общественного

интереса, внимания и культурного формообразования. Часть этих вопросов будет затронута в настоящей работе.

Обыденное и биографическое сознание

При рассмотрении автобиографического повествования социолог вынужден считаться с тем, что в повседневной жизни человек не часто испытывает биографический импульс. Исключения составляют такие ритуальные моменты, как личные или семейные годовщины (памятные, круглые, юбилейные даты, дни рождения, поминаения), а также требования к человеку в особых ситуациях "раскрыть себя" (при поступлении на учебу, работу, при проверке личности в милиции и т.п.). Вообще биографический импульс предполагает открытость, доверительность, искренность, снятие моральных запретов... Эти условия не всегда отличают обычные отношения.

Но главное заключается в том, что суть биографии как повествования о жизни вводит обобщенный, интегральный образ "Я", хотя бы пунктиром намечает идентичность человека в целом и выводит сознание, мышление на особый временной горизонт — в макровремя человеческой жизни. Здесь возникает зыбкий, может быть, неожиданный или даже пугающий смысл таких слов, как жизнь, судьба, счастье, жизненный путь, событие, случай... Часть этих слов используется ежедневно, но когда их применяют к себе, разговор переходит в особую плоскость.

Пространство биографического сознания не только шире пространства обихода, поскольку привычное окружение, сегодняшние мысли, чувства, слова были другими вчера и совсем иными когда-то. Биографическое пространство иначе устроено и обустроено. Значит, иначе устроен праздник, траур, болезнь, катастрофа? И да, и нет. Ведь всему может найтись место в биографии. Будни и праздники, возвышенное и низкое, явное и тайное могут выступить в повествовании, проявиться в нем, поскольку связь событий даже одной человеческой жизни неисчерпаема и может быть прослежена на сколь угодно размеренную глубину, предел которой

ставят любопытство, настойчивость, усталость, скука или память. Наряду с этим, ничто, кажется, не препятствует пересказу своей жизни простыми, безыскусными, обыденными словами.

«Надворный советник Николай Михайлов сын Карамзин родился 1-го декабря 1766 года в Симбирской губернии; учился дома и, наконец, в пансионе у московского профессора Шадена, от которого ходил также и в разные классы Московского университета. Служил в гвардии. Первыми трудами его в словесности были переводы, напечатанные в "Детском чтении". По возвращении своем из чужих краев издавал два года "Московский журнал", после — "Аглаю", "Аониды" и "Вестник Европы". Полные сочинения его напечатаны в восьми томах. Он перевел еще Мармонтелевы повести и многие мелкие сочинения, изданные под именем "Пантеон иностранной словесности". В 1803 году сделан российским историографом, и с того времени занимается сочинением "Российской истории"».

В автографе знаменитого историка [1] слова "надворный советник" и "в пансионе" надписаны вставками поверх строки, как бы по зрелом размышлении. Эта автобиографическая справка, написанная для словаря российских писателей в 1805-м или 1806 году, поражает сдержанностью, лаконичностью, минимизированной фактичностью, обобщенностью образа "сочинитель "Российской истории". Какой контраст с богатством выразительных средств, которым обладал основатель русского сентиментализма, публицист, переводчик, комментатор, историк и

моралист, наставник государей. Здесь нет приниженности, холопства, нарочитой скромности; форма такого рассказа надолго станет устойчивой маской российского человека, характеризующего себя публике, ни на миг не забывающего о властном оке государства.

А вот рассказ о своей жизни петербургской десятиклассницы, написанный в 1992 году:

"Я родилась 18 июля 1977 года в городе Ленинграде. С трех лет пошла в детский сад в Петроградском районе. Проходила в него год. Затем уехала в город Сосногорск Коми АССР к родителям матери. Там жила два года, до 6 лет, и ходила в сад "Солнышко ". А год до начал а школы, вновь приехав в г. Ленинград, проходила в детский сад Петроградского района, где была и раньше.

Когда мне оставался месяц до 7 лет, мы переехали в Красногвардейский район, где живем до сих пор, где пошла в первый класс в 17 3-ю школу в 1984 году. Кончила 1-й класс и вновь уехала в г.Сосногорск, где окончила второй класс. Третий класс и вообще неполную среднюю школу успешно окончила в 17 3-й школе, где учусь и сейчас в 10-б классе".

Единственное оценочное слово в этом тексте — "успешно" — принадлежит стандартному бюрократическому языку советской школьной системы и вовсе не является оценкой, а просто констатирует факт — без двоек, без срывов.

Подобными автобиографиями были заполнены картотеки отделов кадров советского времени. Но что означает эта маска защитной фактичности? Почему человек использует ее даже тогда, когда ничто не угрожает его самолюбию, гордости, чести, не говоря о социальном положении или самой жизни? Ведь приведенная автобиография — одна из нескольких десятков, написанных по просьбе сотрудника межшкольного учебно-производственного комбината, гарантировавшего, что текст останется неизвестным одноклассникам, педагогам, родителям, друзьям... Многие повествования не имеют такой жесткой формы. Похоже, что в ситуациях социального давления или принуждения человек добровольно открывает о себе и своей жизни лишь то, что и так существует вне его в виде документов, удостоверений, свидетельств других лиц, то есть лишь интерсубъективные, признанные другими, известные аспекты своей биографии, жизни и личности. Эти аспекты уже были намеренно или случайно показаны другим, а тем самым и себе — были осознаны, отрефлексированы, а возможно, и вербализованы. Но часто оказывается, что человек до откровенного рассказа о своей жизни даже не подозревал о скрытых в глубинах его памяти аспектах существования. Это означает, что конструктивная сила биографического повествования оказывается столь мощной, что поражает самого автора. Тем самым проблема многообразия автобиографических повествований связана как с внешними стимулами и преградами биографического мышления, так и с внутренними культурными рамками самосознания.

Многообразие биографических повествований: простейшая типология

Повествования бывают тематизированными и нетематизированными. Если ветеран вспоминает свой боевой путь в армии, педагог подводит итог своей профессиональной карьере, диссидент рассказывает историю своей ереси — перед нами тематизированные повествования. Социально-культурная форма (норма) такого рассказа задана, обычность или необычность данного варианта жизненной судьбы, точнее, истории жизни образуют рельеф извне заданных событий, фактов, подлежащих более или менее детальной характеристике, и фактов, рассматриваемых (в данном

контексте или в перспективе данной темы, сюжета, фабулы) как тривиальные, о которых вряд ли стоит вспоминать, не то что описывать их сколько-нибудь подробно, анализировать, мотивировать свои поступки, чувства или отношения. В тематизированных повествованиях велико жанровое давление, природа жанра — существующего вне и помимо данного повествования — оказывается для автора многообразием оправдательных, организующих ориентиров: об этом не стоит и упоминать, поскольку почти у всех было так, это в порядке вещей, или, если я об этом говорю, то потому, что удивительно — у всех было иначе, а у меня вот так, повезло (или не повезло).

Жанровое мышление в тематизированных повествованиях может, однако, быть более или менее сильным. Мемуары ветеранов войны были, по сути, институализированы совокупностью социальных инстанций, их написание поощрялось (или преследовалось) хорошо известными адресными силами. Жанровое мышление, по-видимому, усиливается в случае интервьюирования на заданную тему: теперь расскажите, как вы учились, за что получили награды, а за что получили срок и где его отбывали и т.п.

Основные модификации жанровой тематизации зависят от отношения к данной теме в данный момент: сегодня диссидентство морально возвышает, резко выделяет человека в общественном внимании. Еще недавно диссидентство было неотделимо от желания быть незаметным, не выделяться, скрыться, или же, напротив, непременно и непрерывно быть среди персонажей новостей (иначе не уцелеть). Характерна позиция серьезности в пересказе своей истории, ироническая дистанция возникает редко и, вероятно, является средством резкого изменения статуса рассказчика. Хороший, но вряд ли типичный пример — мемуары Михаила Молодцова, в прошлом малоизвестного, "незаметного" диссидента, а ныне депутата с устойчивой политической репутацией [2].

Нетематизированные повествования возникают без определенного внешнего давления, стимулирования, наводящих вопросов интервьюера, с неопределенным собеседником, хочу оставить своим потомкам, пришла в голову мысль описать свою жизнь. Отсутствие внешнего давления, поощрения или цензуры — еще недостаточное условие свободы от тематизации. Рассуждения П.Бурдье приводят к мысли, что всякая попытка рассказать о своей жизни — заимствование предпосылок такого взгляда на жизнь у литературных (вообще внешних, социально-культурных) форм [3].

Одна из задач исследователя биографий (автобиографий) — выявить предпосылки рассказчика (повествователя, писателя, автора) и те из них, на которые ориентируется автор, имея в виду реального или потенциального читателя, адресата текста или собеседника. Еще одна проблема — явная или неявная ориентация автора на обостренное внимание третьих лиц (близких или далеких). Проблема цензуры отсылает либо к этой узкоформулируемой роли третьих лиц, либо к влиянию социальной оглядки в целом, включая свойства самого автора: самооглядку, привычный уровень морального самоконтроля, критическое или некритическое самосознание, нравственность поведения в одиночестве, в реальном или потенциальном социальном окружении.

П.Бурдье склонен интерпретировать всякую биографическую форму как давление на рассказчика исторических сил формирования европейского жанра биографии, автобиографии, вообще стиливого чередования повествовательных форм — романа, "нового романа" модернистского стиля, психологизма в литературе и т.п.

В таком прочтении основной — по мнению П.Бурдье, искусственной — предпосылкой является сама конструкция биографии (автобиографии), жизнеописания как линейной последовательности событий в физическом (или, точнее, социально-

историческом времени, понимаемом как физическое) смысле, имеющих начало, середину и завершение (обычно момент повествования, но возможны и другие варианты, особенно при явных тематизациях — конец войны, юности, учебы, развод и т.п.).

Как справедливо замечает П.Бурдье, в осмысленности, линейности и целостном представлении человеческой жизни равно заинтересованы как авторы автобиографических повествований, так и интервьюеры или исследователи, невольно приводящие любое изложение жизни к стандартным аксиомам здравого смысла (путь от генезиса к завершению, целостность, осмысленность, внутренняя обусловленность течения жизни). Иначе говоря, жанровая тематизация интересубъективного приемлема, оправдана заранее, она помещает повествование в спокойную зону неопределенного консенсуса и конформизма. А нам кажется, что такой взгляд на человеческую жизнь, на биографию определяется не столько господствующими или инерционными литературными формами, включая фольклорные, сколько ритуализмом повседневности. В краткосрочных рамках повседневности, в обычных условиях идентификация поступков действующего лица, события, жертвы и виновника (следствия и причины) — банальности жизни, установки практического сознания, которые без всякой рефлексии переносятся на уровень жизнеописания. При чтении любой биографии легко обнаружить: сплошь и рядом такой перенос не обоснован.

Следовательно, условные фигуры биографического повествования имеют не авторский, а анонимный характер почти неизбежной и неподконтрольной субъекту структурной трансформации культуры. Эта черта биографий вообще одна из наиболее важных характеристик. Без ее учета исследователь утратит шанс выйти за пределы обыденного смысла, обиходной речи при попытках интерпретации биографических материалов. Это означает, что при изучении биографий необходимо выявить парадигматику повествований в данной культуре, а также обнаружить методы исследовательского дистанцирования от точки зрения автора (или персонажа), наряду с необходимостью контекстного освоения подобных точек зрения. В противном случае исследовательское понимание, интерпретация не имеют смысла, а рассмотрение биографии превращается в собирание реплик, реакций, суждений, оценок и выводов, действий и состояний упоминаемых в повествовании лиц. Задача обнаружить под тканью жизни социальную структуру, культуру и их механизмы останется неразрешимой.

Итак, предпосылки повествования, взгляда на жизнь и т.п. суть только варианты жизненных форм, которые индивид (интервьюер и т.п.) приспособливает к жизненному материалу, набрасывает на него и с их помощью оценивает то, что под этой тканью скрыто. И для самого автора другого пути обычно нет. Но такой путь есть у социального исследователя. И не один: в его распоряжении весь арсенал социально-гуманитарного знания, который ждет своего применения в биографическом подходе.

Шарлотта Хайнтриц, например, показала, что онтологической установкой коллективного описания жизни бывших учениц одного класса могла быть их коллективная судьба, повторяющая судьбу всего немецкого народа до второй мировой войны, в период войны и после нее, сконцентрированная на жизненной истории женской части данного социального слоя (женщины среднего класса). Жизнеописание как бы замкнуто на жизненный горизонт типичных представительниц данного слоя, оно не выходит за пределы их мира [4].

Таким образом, жанровая тематизация оказывается увязанной с исторической и социально-структурной локализацией, идентификацией или, если угодно, метаидентификацией: чем-то установленным со стороны, беспристрастным читателем-судьей, свидетелем, исследователем.

Таков ли человек, каким он себя представляет в биографическом повествовании, каким старается себя там изобразить, каким вольно или невольно обнаруживает себя в тексте? Ответ на этот вопрос отсылает не только к условностям жанра или к культурным формам самосознания или сознания жизни, но и ко всем прочим обстоятельствам биографической коммуникации (собеседник, адресный круг читателей, инстанции цензуры и социального контроля, культурные концепции "Я", идентификации, последующие редакции текстов и т.п.)¹. Но как бы ни были важны эти коммуникативные обстоятельства для биографического подхода, основной методологической проблемой оказываются различия в онтологических установках здравого смысла (отраженных в автобиографии и в той или иной мере индуцированных ведущей тематизацией) и в установках исследователя, отраженных в прочтении биографии, ее анализе, социологической (вообще познавательной) проблематике. Условия биографической коммуникации формируют автобиографическое повествование. Тематизация не только ограничивает, но и стимулирует самовыражение. Внешние тематизации таят опасность авторитарного давления на автора, вследствие чего содержанием повествования могут оказаться только общезначимые, банальные моменты жизни, выделенность, событийность или даже возвышенность, исключительность которых покоится на институциональном, групповом или культурном признании.

Коммуникативная компетентность — не только степень владения культурным репертуаром, но средство понимания. Открытость жизненного мира есть степень включенности в данную социально-культурную среду, а многообразие культурных форм самовыражения придает всякому повествованию игровой, условный характер.

Раз история жизни по необходимости отлита в культурную форму, то решающим становится принцип культурной релевантности: что названо, о чем стоит упоминать, что являет фигуру умолчания. Возникают вопросы, поскольку автобиографический текст касается индивидуальных, уникальных экзистенциальных событий, моментов, акцентов и т.п., то как это увязывается с культурными традициями или актуальным социальным многообразием, требовательностью, желательностью, допустимостью и т.п. модальностями? Не оказываются ли муки слова непреодолимыми? Не теряет ли рассказчик себя, не становится ли он не только дистанцированным, а принципиально оторванным от собственного существования? При всей философской и теоретической важности данных вопросов, эти барьеры практически преодолимы. Хотя нередко ощущение диссонанса культурной формы и личного опыта остается довольно острым.

Вот введение в восьмистраничный рассказ о своей жизни 27-летней женщины, матери троих детей, студентки Независимого университета (Санкт-Петербург):

«Рассказывать о своей жизни "по заданию" мучительно трудно. Точнее, не лежит к этому душа. То, что можно бы поведать в дружеской беседе на даче у камина или за чашкой чая на кухне, стремительно убегает от ручки и бумаги. Сказанное — ложь, а написанное — ложь вдвойне.

Если попытаться рассказать о себе подробно, то как объяснить в двух словах причины своих поступков? Если же взять для рассказа только общие, ключевые моменты — картина моей ли жизни будет нарисована?»

Фактичность жизни дана в тематизации, или, скорее, фактичность придана процессом тематизации — осмыслением, размышлением и так далее. Всякое автобиографическое повествование нельзя считать лишь демонстрацией так

¹ Методологическая оценка условий биографической коммуникации доминирует во многих попытках осмыслить место биографического подхода на фоне других традиционных методов социально-гуманитарных исследований. См., например, [5,6].

называемой логики жизни, считая таковой связь событий в индивидуальном пространстве жизни или в более широком плане, частью которого индивидуальная жизнь оказывается в каждый момент в прошлом, или даже в итоге — в настоящем времени или в тематически выделенном условном итоге, как это бывает при пересказе биографий других людей.

Не затрагивая сути старого спора о том, насколько литературные жизнеописания и вообще литература способны более полно, или более верно, отразить логику жизни (тайну, сущность, содержание индивидуальной

или коллективной и социальной жизни), отметим, что для спонтанных автобиографий он может быть прояснен оценкой социально-культурной наивности, меры развития рефлексивности рассказчика и тому подобными параметрами.

Очевидно, что чем более наивен пересказ истории жизни, тем ближе его структура к слою обыденного сознания той среды, к которой принадлежит рассказчик, и, напротив, чем выше рефлексивность рассказчика, его коммуникативная и культурная компетентность, тем с большей вероятностью могут быть использованы условности стилистических средств, угла зрения, принципы самых неожиданных жанров, тем вероятнее тематическая селекция воспоминаний, фактов и способов их подачи и описания. И все же — какой бы изощренной не была техника культурно-коммуникативных способностей, различие между тем, что было (история жизни), и тем, что могло бы быть в любом условно стилизованном мире (литература), остается критерием обоих видов повествований. Если грань между более или менее устойчивым воспоминанием (проблемы памяти, умолчания, конфиденциальности, страха, цензуры и прочих причин пробелов в повествовании) и более или менее изощренным вымыслом (ложью, фантазией, сочинительством, догадкой, воплощением замысла, сюжетной логикой) не переступается, то жанровая аранжировка автобиографического повествования сохраняет качества незаконченности жизни, незавершенности, случайности, алогичности, бессвязности. Обычно это обнаруживается по внезапным (с точки зрения логики сюжета, законов жанра) перебивкам, смещениям времени, сдвигам или уводам внимания к деталям или неожиданным заключениям (обычно к вопросам морали и здравого смысла: "Ну, знаете, как это бывает?", "Да разве все расскажешь?"). Весьма характерны заключительные строки кратких биографий. Студентка, 20 лет.

"Я не считаю работу в детском саду целью моей жизни. Мне всегда хотелось учиться. Я читаю много книг, и жалко, что знания никому не нужны. После школы я поступала в Институт культуры, но не поступила — не хватило подготовки. В этом году поступила в Независимый университет, и, мне кажется, не зря. В моих знаниях появилась система, я узнала много новых авторов, книг, интересных людей.

Сейчас считаю удачей, что могу делать сама свою судьбу. Не хочу плыть по течению, не люблю однообразных дней. В жизни всегда должна быть цель, когда добиваешься одной цели, нужно ставить новую, нужно расти..."

Социально-культурная дистанция, культурный разрыв и перспективы понимания

Известно, что среди методических путей прояснить предпосылку биографических повествований перспективное значение имеет анализ фигур умолчания. Соккрытие фактов, реакций на них, оценок и т.п. может быть свидетельством детерминаций. Микаэль Поллак и его сотрудники провели обстоятельное исследование причин и мотивов молчания узниц нацистских лагерей (Австрия), сохранявших немочу в течение десятилетий после окончания войны [7]. Это

случай, когда молчание детерминировано сложным сплетением внешних причин и внутренних стремлений избежать стигматизации в качестве жертвы, подавить воспоминания о нечеловеческом существовании, невозможность пережить контраст имевших и не имевших опыта концлагерей как условие диалога, не говоря о политических и моральных обстоятельствах послелагерного бытия. К сожалению, подобных работ очень мало.

В литературных автобиографиях, как и в биографиях, делаются попытки снять моральный покров с жизненной ткани, как бы вывести повествование за пределы нравственных оценок, передать функцию морального суждения самому читателю, будь он реальным собеседником или носителем морального абсолюта. Такова "Исповедь" Руссо, некоторые тексты Достоевского, многие фрагменты литературы модернизма, таковы принципы коммерческих биографий звезд, кумиров или просто фигур, привлечших общественное внимание ("желтая пресса", освещающая события криминального, спортивного или артистического мира, светские скандалы и т.п.). В силу "сделанности" таких историй в них доминирует жанр, а не моральная решимость, бесстрашие, эксперимент или утопия [8].

Моральная структура повествований "обычных" людей редко выходит за пределы принятого кодекса нравственных оценок. Следовательно, можно считать, что тематизации таких повествований, по крайней мере, социально совместимы, нейтральны для данной социальной среды и эпохи. Обычное различие укладывается в шкалу социально-культурных изменений за период времени от начала жизнеописания до момента написания рассказа. Так что сама изменившаяся жизнь (в горизонте данного индивидуума, или его собеседника, свидетеля) дает масштаб выделения событий и акцентирования нравственных оценок. Типичные примеры: как ели, праздновали, играли свадьбы, любили, конфликтовали, чего боялись и чему радовались в прошлом, в отличие от сегодняшнего дня — типизация этих аспектов, событий по контрасту здесь совершенно очевидна, отсутствие таких контрастов скорее всего ведет к умолчанию. Но возможно и иное, социологически куда более интересное объяснение селективности повествования: отсутствие фона для сравнения, утрата ориентиров.

Вот типичный пример тематизации по контрасту. В автобиографии 27-летнего рабочего, отца двоих детей, не только сопоставляются два места жительства, но и содержится немало намеков, отсылающих к ситуации в Петербурге к моменту написания текста (февраль 1993 года).

"Родился в самый холодный месяц зимы, в спокойное и относительно сытое и счастливое время. Место моего рождения — небольшой городок российского Донбасса. Город моего детства—районный центр, состоящий из множества поселков с шахтными терриконами и с непрерывно бегающими по ним вверх-вниз вагонетками. Недалеко были депо и железная дорога, по которой частенько пыхтя из трубы то белым, то черным дымом проползал паровоз, за ним катились вагоны с углем.

Поселок носил название Горноспасательный и этим полностью вписывался в общий пейзаж. Другие поселки и центр знаю мало, так как из-за малого возраста моя самостоятельность была сильно ограничена. Состоял поселок из упорядоченных улиц индивидуальных домов и бараков. Хотя улицы в основном не были асфальтированы, но осенью грязи на них не было. Они были сделаны незамысловато, но правильно: их проезжая часть имела выпуклую форму по центру и дренажные канавы по краям, что делало поверхность дороги твердой, укатанной и без луж в любую погоду.

Дом, где мне довелось родиться, был квадратной формы с большой кладовкой, где вместо двери висела плотная занавеска и куда мне ходить

воспрещалось. Там за занавеской на полках стояли варенья, всякие компоты, яблоки, и родители имели опасение, что я, прорвавшись в кладовку, съем столько, что в здравии не останусь. Это было верно, я действительно был большой охотник покушать.

Где-то рядом была необозначенная граница с Украиной, и женщины ходили туда в магазин за охотничьими колбасами и редким у нас сыром, а оттуда к нам ходили за свежей рыбой, ее у нас было в изобилии.

У дома мама обычно высаживала цветы... Весной и летом поселок был очень зеленый, по улицам росло много деревьев, во дворах сады, виноградники. В ночное время улицы освещались слабо, и молодежь резвилась, запутывая нитками все тротуары и дорожки. На это мало кто обижался. Если и случалось споткнуться в темноте о прядь ниток, это воспринималось с юмором. Молодежи и детей было необычайно много, хотя детсадов, детских кухонь и прачечных у нас не было вообще. Просто жизнь была упорядочена, а в будущее смотрели с уверенностью.

Шло время... Исходя из рациональных соображений родители решили занять квартиру с соответствующими эпохе удобствами, то есть в многоэтажке с ванной и центральным отоплением. И в семь лет я оказался жителем улицы Чапаева и смотрел на мир в окно квартиры с высоты третьего этажа.

Я хотя и был еще мал, но почувствовал какие-то глобальные изменения в моей жизни. У меня уже не было своего двора, а был наш двор — общий. Во дворе не росли цветы с пчелами на них, и не было любимой кладовки с занавеской.

...После армии приехал в Ленинград, работал на заводе, женился, получил квартиру. Появились на свет двое мальчишек — Андрей и Данил, а вместе с ними всякие пеленки, ползунки и многие передраги и помыслы.

Да тут еще у нашей властной верхушки некстати возникли новые идеи... Но пропала вначале зубная паста, а затем и все остальное, и жизнь пошла настолько однообразная и у многих похожая, что писать о ней нет смысла, ее все помнят и у всех она идентична".

Отметим, что в повседневной жизни социальные изменения обычно никак не маркируются, чем и объясняется необходимость их активной тематизации в биографическом мышлении. Если история жизни излагается в горизонте обыденного сознания, то требуется подчас значительное усилие даже для обнаружения или осознания изменившегося порядка вещей. Такое усилие может базироваться на культурной компетентности исследователя и его стремлении к контролируемому сравнению, если сам рассказчик к нему не способен или лишь непроизвольно и бессознательно описывает, или натывается на соответствующие фрагменты и аспекты прошлого. Следовательно, тематизации, отбора событий или черт по контрасту следует ожидать при сильной внешней стимуляции, либо при высоком уровне компетентности рассказчика.

Обиход, по определению, воспроизводится как привычный в данном кругу лиц уклад, который не вызывает вопросов, не порождает удивления, принимается как само собой разумеющееся течение жизни. Социально-культурные изменения как бы поглощаются непрерывной эволюцией обихода, отжившее проваливается в прошлое сквозь сито каждодневной повторяемости, воспроизводства, текущей функциональности.

Отжившее, прошлое как бы теряет культурно-психологическую значимость, или

во всяком случае трансформируется в некую другую модальность, выходит за пределы воспроизводимо-существующего, актуального, привычного, надежного основания повседневного существования, быта... Но это не значит, что обиход вне культуры, напротив, он составляет едва ли не важнейшую часть культуры данной группы или более широкого, но не вполне определенного социально-культурного окружения. Такие концептуализации обихода, как повседневность, рутина, традиция, обычай и ритуал, "само собой", "а как же иначе?", "как обычно", "так принято", "всегда", "ну конечно" и т.д., фиксируют лишь немногие стороны. В основном это повторяемость, привычность в пределах данного круга лиц, и, в ограниченном смысле слова, традиционность, обычность, отсутствие удивления, странности, необходимость в дополнительном пояснении или разъяснении, неявный характер связи с моральными и авторитетными требованиями, добровольность, непроблематичность, непроизвольность. И значит — как бы обезличенность, интересубъективность, высокая степень взаимной приемлемости.

Все, что вызывает реакции противоположных модусов (удивления, раздражения, сопротивления, непонимания, отстранения, протеста, отказа или отвлечения от сотрудничества, неразделяемости), связано с разрывами обихода, выходом за его пределы в область индивидуального сомнения, колебания, замысла, расчета, решения или в сферу группового пространства неопределенности, пробы, попыток, колебаний, вариантов, маргинальности, противоречий, конфликта, неожиданностей, изменений, нового, или просто в иную субкультуру. Тем самым обнаруживается перспектива расслоения детерминирующих сил, их соподчинение и связь: индивидуальный, социально-групповой или культурный детерминизм (главным образом детерминизм прошлого). И, следовательно, онтологические основания, на которых выстраивается или покоится "биографическая иллюзия" (означающая, что данная жизнь есть жизнь имярека, и только, все, что описывается в его биографии, сфокусировано вокруг и в связи с его волей, ответственностью, решениями, стремлениями, желаниями, страхами; сфокусировано на его жизненный мир, обусловлено его идентичностью и свойствами личности; есть "всего лишь" его судьба, карьера, жизненный путь, то, что "случилось со мной", "чего я сам добился" и "что досталось мне", "что выпало на мою долю", "что я пережил", "что я видел, чувствовал", "чему сам был свидетелем, участником", "чем я непосредственно был затронут" и т.п. топоры жизнеописаний), обретают свое место в иерархии социально-культурных механизмов, формирующих ситуацию и личность.

Обиход образует нижний базисный слой культуры в ее повседневном существовании, повторяемости, воспроизводстве. Его психологические характеристики — ограниченная (групповая) интересубъективность, рутинность, нерелексивность. Индивидуальные культурные ресурсы, обозначаемые понятием "хабитус", дают возможность каждому участнику жизненного процесса чувствовать себя в "своей тарелке", на своем месте. Явное преувеличение детерминирующих и продуктивных сил хабитуса, характерное для некоторых формулировок П.Бурдьё², можно объяснить критической ролью индивидуальных культурных ресурсов (в символическом и в телесно-практическом выражении) в событийном слое культуры, в особых, сверхнапряженных социальных ситуациях (в терминах П.Бурдьё, "драматических ситуациях" [9, p.154]), при выполнении маркированных социально-культурных функций, где конфликт, кризис или неопределенность возлагают на действующих лиц

² "Продукт истории — хабитус порождает практические действия, индивидуальные или коллективные, т.е. историю, в соответствии со схемами, порожденными историей; он обеспечивает активное присутствие прошлого опыта, отложившегося в каждом организме в виде схем восприятия, мысли и действия, обеспечивая гарантии конформности практик и их постоянство во времени куда вернее, чем все формальные правила и явно выраженные нормы" [9, p.91].

обязанность естественной импровизации, опоры на креативные силы и, наряду с этим, дополнительные обязанности по поддержанию интегрированности социально-культурных действий, их совместимости с разделяемой картиной мира. В таких ситуациях и сами действия участников и их последствия (иногда весьма отдаленные) теряют анонимность. Собственно, они поэтому и маркируются как событийные или даже судьбоносные. В таком стиле восстанавливается культурная или литературная история. В обычных биографических контекстах аспекты или элементы жизни, меняющие ее ход или угрожающие изменениями, нередко предписываются случаю, судьбе, стечению обстоятельств или непосредственно макросоциальным силам. Перед ним.и индивид чувствует свое бессилие. Но, обзревая или пересказывая свою жизнь, человек современной культуры стремится удержать ее персонифицированность, несмотря на вторжение чуждых ей сил, проявлением чего и служит биографическая иллюзия.

Реальность биографической иллюзии ставит перед исследователем проблему несоизмеримости, или, скорее, несопоставимости биографии и истории. Речь идет, вероятно, как минимум о трех разных явлениях: вес событий индивидуальной жизни в исторической оптике неузнаваемо меняется; биографическое сознание, а равно и повествование обязательно принимает форму биографической иллюзии; интересы историка, социолога или любого другого исследователя, хотя и включают в свою сферу жизненный мир данного индивида, простираются далеко за его пределы. Дело не в том, что история действует "за спиной" живущих своей жизнью конкретных людей (на чем настаивали сторонники социологического реализма). Исторические формы общества и культуры осуществляются, образуются действиями индивидов на протяжении их жизни, без освоения точек зрения действующих лиц исторические события и процессы необъяснимы и неполны. Но они могут быть описаны, пересказаны, осмыслены во множестве перспектив. Одни события или аспекты фокусируют различные взгляды и разнообразные пристрастия, как бы магнитом притягивая к себе свидетелей или любопытных, другие почти всех оставляют безучастными.

Тем не менее, ценность социального познания прошлого состоит в умении ориентироваться в настоящем и расширить сферу свободы в будущем. А сфера свободы — не только функция социально-культурного контекста, но и жизненного мира каждого. Таков пафос гуманитарной, коммуникативной, диалогической парадигмы социального познания, одной из составных частей которой является биографический подход. Если в обычных условиях индивид заключен в повторяющуюся рутину повседневности, если исключительные события, общественные ситуации, профессиональные или культурные роли возвышают его над каждодневной цикличностью бытия, если благодаря биографическому импульсу человек оказывается один на один с уникальностью своей судьбы, то вторжение в его жизнь социального познания со всей совокупностью исторически выработанных онтологических установок и познавательных интересов означает расширение жизненных перспектив. При этом гуманитарная парадигма не требует отказа от здравого смысла или дорогих сердцу иллюзий, она лишь релятивизирует их, дает им свое место в населенном другими людьми, а не только вещами, гуманитарном и потому гуманном мире.

Попробую пояснить, что следовало бы понимать под социально-культурным разрывом, поскольку не исключено, что это понятие может оказаться исключительно важным для теории социальных изменений и теории повествовательных текстов или социальной коммуникации вообще. Можно ли и просто ли рассказать, что чувствовал человек, освободившийся из лагеря, оказавшийся безработным, переживший катастрофу, вылечившийся от алкоголизма или наркомании? Во всех случаях особенность пережитого может быть пересказана, изложена, представлена как

последовательность внешних событий, а может быть изложена и изнутри, вызывая к эмпатической способности читателя, слушателя, собеседника социально-культурной инстанции, к которой адресуется содержание пережитого. Но ведь нередко оказывается, что почти нет никакого шанса быть услышанным, понятым, а тем более получить в ответ какие-либо знаки сочувствия, солидарности, разделить общую судьбу. Это и есть один из примеров социально-культурного разрыва. Автору повествования не удастся (или, что то же: ему кажется безнадежным) добиться понимания на фоне остро ощущаемого драматизма, новизны, странности, особенности, невыразимости своего опыта и жизненного мира других.

Приведу пример из недавней обыденной жизни. Ездившие за границу еще несколько лет назад нередко пространно рассказывали о своих впечатлениях, и не потому, что боялись, а потому, что социально-культурная дистанция между разделяемым и неразделяемым опытом делала коммуникацию слабоэффективной, а ожидаемый отклик неадекватным. Теперь, когда поездки стали обычным делом, пересказ впечатлений приобретает перспективу менее проблематичного понимания, многие подробности становятся само собой разумеющимся фоном, основой для обмена другими сведениями, фактами, описаниями и т.п. элементами повествования. Социально-культурный разрыв устранен, или социально-культурная дистанция сокращена, или создана фоновая глубина, структура для нормальной коммуникации. Опыт, который прежде был уникален, чужд, незнаком, опыт, который нужно было комментировать, теперь может быть классифицирован на общее и частное, обычное и странное, рядовое и исключительное, рутину и событие и т.д.

Таким образом, повествование приобретает черты социально-культурного текста, в котором есть не только сообщение, но и реакция на него — в потенциально-ожидаемой форме или в реальном исполнении другого. Смысл и значение индивидуального опыта типизируются в терминах социально-разделяемых категорий, причем не только формально, но и "изнутри", со стороны соучастия, сопереживания, сотрудничества, солидарности, согласия, сомнения, иронии, критики и прочих модальностей социального взаимодействия, взаимно эффективной коммуникации. Само взаимодействие нормализуется. Оно располагается в жизненном горизонте собеседников, укладывается в их общий кругозор. В случае "лагеря", "тюрьмы", "алкоголизма", "безработицы", "развода" возникают аналогичные трудности. Но ведь с той же структурой связи повествования и фона, текста и контекста, сказанного и имеющегося в виду, подразумеваемого, явно выделенного и неявно присутствующего — мы сталкиваемся и в других, рядовых случаях биографических повествований. Каждое из них есть преодоление всех потенциальных социально-культурных разрывов или дистанций, которые автор может предугадывать, а может и не замечать, не чувствовать, поскольку его коммуникационная компетентность или низка или имеет совсем другой строй, структуру, чем у читателя, в данном случае — исследователя, находящего признаки своей проблематизации в чужих текстах, старающегося распознать в повествовании интересные для него элементы, сюжеты, структуры, фигуры.

Различие в коммуникативной компетенции — частный случай социокультурной асимметрии, которая характерна для отношений "обычных людей" и "исследователей". На стороне последних более высокие ресурсы коммуникативной компетентности (личные, профессиональные и институциональные). Индивид обычно воспринимает любого интервьюера как представителя власти, "истэблишмента". И такую установку нелегко поколебать: закрытость, настороженность респондента в начале беседы или при любом затруднении в ходе интервью хорошо известны. Еще очевиднее асимметрия взаимодействия в случае формального опроса, когда анкета воспринимается

респондентом как часть бюрократически организованной и структурированной процедуры, которая принуждает играть пассивную роль. Уход от ответа или даже отказ от сотрудничества — только явные следствия асимметрии; в тени нередко остается то обстоятельство, что неопределенность, многозначность "реакций" респондента — часть артефактов исследования, порожденная административной формой организации. Обычно в опросных методах доминируют факторы внешней тематизации ответов, и чем меньше свободы самовыражения у респондента, тем сложнее установить связь с факторами внутреннего плана мышления индивида, внутренней тематизацией, если она реально задействована.

"Наивные, сентиментальные биографии", которые рассматривает Марианна Гуллестад, или отстраненное, отчужденное введение в личную трагедию, служащую предметом повествования и анализа Рут Бехар — это крайние варианты различных установок повествователя, рассказчика или автора³. Первые движутся, они размещены только в жизненном горизонте автора (и равного ему по жизненному положению собеседника), вторые создают целую иерархию сопоставительных рамок, фонов, горизонтов, в которых текст может быть прочитан, понят, проинтерпретирован, оценен, валидизирован, проверен, удостоверен. Какой из этих путей более "прочен", какой гарантирует эффективность коммуникации, т.е. интересность текста, конечно, зависит от его использования, от его прочтения и читателя (здесь: категории или составные части коммуникации) и всей структуры коммуникации.

Когда тематизация биографии ограничивается горизонтом жизненного мира рассказчика, такая биография составляет наиболее интересный и "чистый" источник для исследователя. Конечно — если интервьюер сумеет удержаться от навязывания, предложения собственной тематизации рассказчику, или во всяком случае сведет ее к минимуму, к контролируемому вмешательству в рассказ, лишь поощрив продолжение, поддержав какие-то линии, исправив смещение временных перспектив и т.п. Разумеется, эти вмешательства суть внешние тематизации, которые можно превратить в проблему изучения. Но все же не структура повествования как таковая, а его содержание, другие стилевые элементы формы образуют основной, главный материал (социологических, гуманитарных или иных) проблематизаций.

Методически нетематизированные биографии задаются самыми общими и неопределенными ориентирами: расскажите о своей жизни; не могли бы вы остановиться на своей биографии; а что ваша жизнь, нельзя ли рассказать о ней, и пр.; нам интересны биографии любых людей; опишите вашу жизнь и жизнь вашей семьи, близких. Во всех этих случаях те-матизация осуществляется, но она оставляет вопрос открытым (или почти не направляемым) со стороны интервьюера, собеседника, профессионального слушателя с магнитофоном.

Можно полагать, что тематизации минимальны, по крайней мере с этой, влияющей извне в момент рассказа стороны, когда сам человек, по не вполне известным мотивам (которые могут приводиться в тексте, а могут и отсутствовать, более или менее подразумеваться) принимается за описание своей жизни, биографии, составляет свое жизнеописание. В таких нетематизированных или условно нетематизированных повествованиях можно найти все многообразие естественных (для данной социальной среды, эпохи) жанровых ориентации, на таких примерах более обоснованно, без внешних препятствий можно рассмотреть проблему природы биографического сознания, его историческую динамику, социокультурную дифференциацию и т.п.

³ Сообщения норвежской исследовательницы М.Гуллестад (Marianne Gullestad) и американского психолога Р.Бехар (Ruth Bechar) прозвучали на конференции "Дети в условиях риска" (Children at risk) в г.Берген (Норвегия, апрель 1992 года).

Конечно, вскоре обнаруживается, что некоторые социальные группы вообще не фигурируют в корпусе биографического фонда — прежде всего малообразованные, сельские жители, благополучные меньшинства и т.п. А поскольку эти группы являются источниками биографической информации, приходится прибегать к активным методам их стимулирования или помощи в получении, организации и т.п. биографических материалов, документов, свидетельств или повествований. Здесь тактика варьируется от общих и тематических конкурсов автобиографий до целенаправленного поиска авторов и интервьюирования их, получения от таких авторов или от их окружения личных документов и сведений (дневники, записи, письма, генеалогии, фотографии и пр.)

Трудности получения биографий от определенных групп (низ и верх социально-экономической и культурной иерархии, случаи сильных отклонений или особого жизненного опыта, особо одаренных или, напротив, обделенных природой людей) заставляют задуматься о том, какова историческая динамика биографического сознания, какое значение имеют культурные факторы формирования индивидуальной или групповой идентичности, самосознания, рефлексии, цензуры и прочих сил, которые связаны с динамикой "Я", самоопределением или социокультурным определением.

Масштабные гипотезы о природе такой динамики хотя и нередки в методологических трудах о литературных и социальных биографиях, но недостаточно подтверждены фактами. Пока правдоподобнее гипотеза о колебаниях биографического сознания, о его корреляциях с не вполне установленными факторами культурно-исторического порядка.

История литературных биографий очень давняя (это один из ранних жанров литературы вообще). И тем не менее в истории литературы известны вспышки интереса и спады внимания к биографиям. Что касается социальных автобиографий, то их история явно связана с грамотностью, письменностью, но также и с резкими изменениями статуса различных социальных групп, индивидов или с идеологиями и культурными движениями, воздействующими на индивидуальное сознание, особенно в новое время. Исключение (благодаря социальной значимости самих явлений в жизни некоторых обществ) составляют генеалогическое мышление и практика — вероятно, более древние, чем любая форма биографического сознания и усилия.

Жизненные истории обычных людей заполнены описанием таких событий, которые каждому из них кажутся уникальными, неповторимыми, однократными, словом, личными. Но в другой перспективе многие такие события оказываются рядовыми, массовыми, почти лишенными ореола случайности и редкости: они, напротив, выступают примерами реализации массового потока, серии, перемен, которые подчинены очень простым социальным и структурным закономерностям. Дети военных не по своей воле переходят из школы в школу, вырываются из одной жизненной ткани и силою обстоятельств пересаживаются в другую социальную ткань. Чередование переживаний разрыва, боли, отдаления, а с другой стороны, трудности адаптации, смятение, неожиданность, страхи так обычны. Дети мигрантов переезжают с места на место, пока жилищные условия их семьи не нормализуются.

Следствием становятся нестабильность социального окружения, трудности в развитии личности, но одновременно, если травмы разрыва не подавляют адаптивной способности человека, если ему везет, они дают более широкий, неожиданный и разнообразный жизненный опыт. Что перевесит в каждом конкретном моменте — дело случая. Но сами процессы, сколь бы уникальными они ни казались в личной перспективе, структурно закономерны и даже тривиальны.

Понятие "макроповедение" выводит события индивидуальной жизни из рамок

индивидуально-семейного, группового обихода на иные (подчас совсем неожиданные) уровни. Но далеко не все и не всякие события индивидуальной жизни могут быть освоены, и главное — адекватно осмыслены обыденным сознанием. Часть из них не может быть приспособлена к рутине повседневности или, напротив, маркирована как поворотные, судьбоносные события, влекущие многообразные личные и социальные последствия. Некоторые события индивидуальных жизней остаются как бы вне индивидуального сознания; они были и, если необходимо, о них вспоминают, но их значение не воспринимается на индивидуально-групповом уровне.

Смысл понятия "макроповедение" наполняется собственным содержанием, когда рассматриваешь генеалогические схемы, на которых изображены жизнь и взаимосвязи многих поколений, состав и характеристики нескольких, иногда более трех десятков семей или групп кровных родственников и свойственников. К сожалению, рамки журнальной статьи не позволяют подробнее рассказать о Генеалогической программе, начатой сотрудниками Биографического фонда как простое продолжение и естественное дополнение автобиографических повествований. Скажу лишь об одном общем выводе. На всякой генеалогической схеме можно выделить зоны городского и сельского населения, проследить процесс мощного движения или преобразования сельских жителей в горожан. Каковы бы ни были мотивы и конкретные индивидуальные причины движения, выделяются два основных фактора закрепления в городах: военная служба или работа на оборонных предприятиях (дававшая преимущества при прописке, получении жилья, в статусе) и образовательные миграции. Многолетнее формальное образование в техникумах, вузах, военных училищах обычно приводило к географическому закреплению мигрантов. А вслед за первопроходцами в города тянулись и младшие родственники, двоюродные братья-сестры, тети-дяди и т.п. Оба фактора — военная служба и образование — находят результирующее выражение в профессиональной характеристике и смене места постоянного жительства, не раскрывая, конечно, многообразные и пестрые обстоятельства жизненных путей и мотивы; которые в каждом конкретном случае сопровождали миграцию. Эти разнообразные обстоятельства как бы затегают суть макроструктурных изменений в текстах автобиографий. Милитаризация и массовое формальное образование как механизмы модернизации (наряду с такими, как деклассирование, голод, репрессии или страх перед ними, войны, эпидемии и другие бедствия, ликвидация или создание рабочих мест, а также и мест жительства) обнаруживают свое значение лишь при обобщении генеалогических материалов.

* * *

Современная дезорганизация общественной жизни, отчетливо воспринимаемое ускорение ее темпа усиливают традиционный скепсис по отношению к способности человека понимать себя и окружающий, в первую очередь, социально-культурный мир. Социальная наука в последние десятилетия натолкнулась на преграды: сложившиеся модели человека и социальных систем перестали удовлетворять исследователей. И это верно как для микро-, так и для макроуровней и, тем более, способов их соединения в теории.

По инерции многие еще используют модели типа "стимул-реакция", но далеко не все уверены в том, что так создается фундамент общей социальной теории. Человек еще воспринимается как "говорящее орудие", и кое-кто наивно полагает, что его слова (ответы на вопросы социолога) полностью соответствуют его делам — будь то электоральное или деловое поведение. Социальные институты еще рассматриваются

как машины, которые функционируют и изменяются как бы помимо поддерживающих их людей. Последние защитники "человека-калькулятора" (rational choice model) еще готовы сводить к полезности любые человеческие стремления. Но таким моделям во всех социальных науках уготовано скромное место "технических упрощений", а некоторым из них — и вовсе экспонатов исторических архивов.

Интерес к биографиям обычных людей (или генеалогиям обычных семей), на наш взгляд, прежде всего связан с изменением перспектив в социологии. Успехи культурологии, как нам кажется, позволят восстановить значение общих ориентации и теорий.

ЛИТЕРАТУРА

1. Карамзин Н.М. Соч. В 2-х т.Л.: Худож.лит., 1984.Т.1.С52-54.
2. Звенья. 1992. Вып.1.
3. Bourdieu P. L'illusion biographique // Actes de la recherche en sciences sociales. 1986. Juin 62 / 63. Paris. P.69-72.
4. Der Klassenrundbrief / Hergb.v.Ch.Heinritz. Opladen: Leske u.Budrich, 1991.
5. Peneff J. La methode biographique. Paris: Arman Colin, 1990.
6. Biography and Society. D. Bertaux (ed.) Beverly Hills: Sage, 1981.
7. Pollak M. La question de l'indicible // Actes de la recherche en sciences sociales. 1986. Juin.62 / 63. Paris. P.30-53.
8. McKinley R. W. Llife Histories and Psychobiography. Explorations in Theory and Method. New — York — Oxford: Oxford University Press, 1984.
9. Bourdieu P. Le sens pratique. Paris: Editions de Minuit, 1980.